

Человек живет чувствами, умом и волею. Слияние их есть мысль, ибо что такое чувство, как не осуществленная мысль? Что такое ум, как не опытность мысли? Что такое воля, как не мысль, преходящая в дело? Потому-то существо, одаренное мыслию, стремится чувствовать, познавать и действовать. Полагая чувства только орудиями, передающими разуму впечатление предметов, в нас и около нас находящихся, мы прямо обратимся к познанию. Человек не иначе может познавать свое бытие, как в сосуществовании внешних предметов, чувствам его подлежащих.

Прикасаясь, например, ко мне, он ощущает, что рука его не камень; глядя на солнце, он отличает, что то не глаз его, и, следовательно, убеждается в одно время не только в том, что он сам существует, но что и предметы сии существуют так же, как он. Из этого видим, что *бытие* и *познание*, равно как *вещепознание* и самопознание, неразлучны. Но, неразделимые по своей сущности, они могут быть двойственны по способам наблюдения, то есть человек может созерцать природу или из себя на внешние предметы, или обратно — от внешних предметов на себя. В первом случае он более объемлет окрестную природу; во втором — более углубляется в свою собственную. Цель и свойство каждого наблюдения есть *истина*; но и к познанию истины есть два средства. Первое, весьма ограниченное, — *опыт*, другое, беспредельное, *воображение*. Опыт постигает вещи, каковы они суть или какими быть должны, воображение творит их в себе, каковы они *быть могут*, и потому условие первого необходимость, границы его мир — но условия второго *возможность*, и оно беспредельно, как сама вселенная. Так, руководимый соотношениями

и опытом, Архимед, купаясь, постиг тайну удельного веса твердых тел; так Невтон по сверканию воды предсказал ее горючесть, так Колумб, наблюдая течение моря, угадал бытие Нового Света. Все уступило предприимчивости естествоиспытателей. Земля, вода, огонь и ветер, пары и молния заплатили дань их воле, на все наложили они цепи общественных мыслей своих, то есть орудий, ими изобретенных. Но творческое воображение далеко опередило опыт, не имея никаких данных. Оно облекло речи одеждой письма, но вообразило математическую точку, постигло делимость бесконечно малых; извлекло общие законы даже из отвлеченностей изящного, убедилось в беспредельности миров за границею зрения и бессмертия духа, непостижимого чувствам. Одним словом, воображение, или, лучше сказать, мысль, от чувств независимая, бесконечна, ибо равно невозможно определить, как далека она от ничтожества и от совершенства, к которому стремится.

До сих пор мы говорили только о самобытности мысли в человеке. До сих пор ее умозрения могли существовать, не проявляясь. Теперь обратимся к обнаруженной воле, то есть *действию*, душа которого есть *доброта*, ибо для чего иного, как не для достижения собственного или общего блага, покидает человек покой бездействия? Самое избегание вреда и удовольствие суть уже блага.

Правда, собственное невежество, предрассудки, воспитание и дурные примеры высших совращают не только людей, но целые народы с пути добродетели, не понимая того, что пороки, сколько бы они лестны ни были, разрушают здоровье и покой. Это личное благо каждого основано на непременном благе общем, что высочайшая политика есть правота, что возмездие за добро и зло и самое счастье находятся не вне, а внутри нас самих. Люди корыстуют, коварствуют, угнетают, мстят во имя бога, законов, которых не понимают они! Но даже и сии заблуждения доказывают враждебное стремление души человеческой к взаимному благу, то есть доброте. Итак, действие или проявление мыслей может выразиться в разных видах или формах. Все равно, будет ли оно облечено словами или музыкою, краскою, или движениями, или деяниями. Но все образы вещественные заключаются в известном пространстве. Все явления происходят в известном времени. Следственно, они ограничены, они конечны. Всегда ли же беспредельная мысль может вместиться в известные пределы выражения? Конечно, нет. При этом представляются

три случая: или выражение превзойдет мысль, и тогда следствием того будет смешная надутость, пышность оболочки, которая еще явнее выкажет нищету идеи, или мысль найдет равносильное себе выражение, и тогда чем совершеннее будет союз их, тем прекраснее, тем ощутительнее окажется достоинство обеих. *Простота и единство* суть отличительные качества подобного выражения. Вид этот я назову *отражательностию*, потому что он, как в зеркале, передает мысль производителя во всей полноте и со всеми ее оттенками, или, наконец, мысль огромностию своею превысит объем выражения, в которое теснится, и тогда она или должна расторгнуть форму, как порох орудие, или разлиться, как переполненный кубок, или вместиться во многие виды, подобно соку древесному, разлагающемуся в корень и кору, в стебли и листья, то развиваясь цветом, то зреющему в плоде. Неясность и многосторонность должны быть необходимыми спутниками такого слияния бесконечного с конечным, утонченного с грубым. Назовем его *идеальностию*, потому что идея или мысль превышает здесь свое выражение. Вот начало классицизма и романтизма¹.

Цель наблюдения, сказали мы, есть *истина*, а душа действия — *доброта*. Прибавим, что совершенное слияние той и другой есть изящное, или поэзия (здесь я беру поэзию не как науку, но как идею), неотъемлемым качеством которой должно быть *изобретение*, творчество. Поэзия, объемля всю природу, не подражает ей, но только ее средствами облекает идеалы своего оригинального, творческого духа. Покорная общему закону естества — движению, она, как необозримый поток, катится вдаль между берегами того, что *есть* и чего *быть не может*; создает свой условный мир, свое образцовое человечество, и каждый шаг к собственному усовершенствованию открывает ей новый горизонт идеального совершенства. Требуя только возможного, она является во всех видимых образах, но преимущественно в совершеннейшем выражении мыслей в словесности.

Но там, где нет творчества, — нет поэзии, и вот почему науки описательные, точные и вообще всякое подражание природе и произведениям людей даже случайной добродетели не входят в очаровательный круг прекрасного, потому что в них нет или доброты в истине, или *истины в доброте*. Например, в летописи заключается истина, но она не оживлена нравоучительными уроками доблести. Картины Теньера верны без всякого благородства². Подражание

мяуканью может быть весьма точно, но какая цель его? Храбрость для защиты отечества — добродетель, но храбрость в разбойнике — злодейство. Самоотвержение Дон-Кишота привлекательно, но зато дурное применение оно к действиям смешно и вредно. Благодеяние из корыстных видов, близорукая доброта, которая обращается во вред многим, принадлежат к сему же разряду.

Мало-помалу туман, скрывающий границу между классическим и романтическим, рассеивается. Эстетики определяют качества того и другого рода. В самой России, правда, немногие, но зато истинно просвещенные люди выхаживают права гражданства милому гостю романтизму. Считаю не лишним и я изложить здесь новейшие о том понятия, как отразились они в уме моем сквозь призму философии.

Впервые — «Новогодник. Собрание сочинений в прозе и стихах современных русских писателей, изд. Н. Кукольников». СПб., 1839, с. 337—341. Подписано: «А. Марлинский». В 1951 году С. Я. Штрайх опубликовал этот фрагмент в первом томе «Избранных социально-политических и философских произведений декабристов» (М., Политиздат, 1951, с. 481—484) по автографу, сохранившемуся в ЦГАОР и датированному им 1826 годом, ошибочно указав на свою публикацию как на первую. В редакции «Новогодника» был отброшен последний абзац (предпоследний абзац заканчивается отточием), а текст отличался от публикации Штрайха несколькими мелкими поправками. Поскольку источник публикации, которым располагал Н. Кукольник, нам неизвестен, предпочтение следует отдать редакции автографа. Лишь в двух местах мы вносим по тексту «Новогодника» исправления, устраняющие явные грамматические неувязки, вероятнее всего описки Бестужева.

М. К. Азадовский еще в 1954 году указал на ошибочность датировки, предложенной С. Я. Штрайхом, «так как весь 1826 год Бестужев провел в заключении: сначала в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях, а затем в форте Слава» (ЛН, т. 59, с. 770), и обоснованно датировал фрагмент концом февраля — началом марта 1829 года (там же, с. 724). Однако убедительные указания М. К. Азадовского по непонятным причинам остались незамеченными: специалисты продолжают датировать материал 1826 годом и указывать на то, что впервые он был опубликован в «Избранных социально-политических и философских произведениях декабристов». См., например: «Проблемы романтизма. Сборник статей». М., «Искусство», 1967, с. 250; «Русские эстетические трактаты первой трети XIX века», т. 2. М., «Искусство», 1974, с. 646.

¹ Интересно сопоставить эту классификацию с той, которая содержалась в переводной статье Бестужева «О духе поэзии XIX века» (1825, см. наст. изд., с. 297 и след.). В ней критик развивал глубоко романтическую идею, что подлинный источник творений искусства — в душе их творца. Нашлись люди, с осуждением писал тогда Бестужев, которые «схватились за предметы наружные, описали преточно их приметы и вид» — вот «явился род описательный. Что сказать об этом подобии поэзии, об этом безжизненном призраке, где природа, столь подробно описанная, лишена лучшей своей прелести, которая идет от души? Об этом поддельном роде, исполненном сухости, где сочинитель... рассматривает цветок, деревцо, птичку из одного удовольствия описать их». Этому «подобию поэзии» противопоставлено подлинное искусство, которое «в сердце человеческом» находит «неисчерпаемый источник красот, вечный предмет песней поэтических». Теперь же отношение Бестужева к «отражательности» ощутимо изменилось. Он считает ее законным и по-своему нужным видом искусства, хотя и не отводит ей главенствующей роли, которая принадлежит «идеальности».

² В эстетике начала XIX в. голландская бытовая живопись XVII в. рассматривалась как искусство «низменное» и противопоставлялось «высокому» классическому искусству Италии XVI—XVII вв. Отсюда и отношение Бестужева к *Теньеру* (правильно Д. Тенирс-младший), крупному фламандскому живописцу XVII в., создателю бытовых сцен, религиозных картин, трактованных в жанровом духе, портретов и т. д.

МЫСЛИ И ЗАМЕТКИ

Публикуется впервые. Автограф находится в ЦГАОР (ф. 109, I экспедиция, ед. 61, ч. 53, лл. 88—91 об.), среди рукописей других произведений Бестужева, не разрешенных к печати Л. В. Дубельтом (см. там же, л. 149).

Материал датируется предположительно концом 1820-х — началом 1830-х годов, так как именно в этот период нарастает интерес Бестужева к затронутым здесь проблемам, в частности, к специфике исторического романа, к соотношению истории и современности. И по содержанию и по стилю «Мысли и заметки» перекликаются с его же статьей «О романе Н. Полевого «Клятва при гробе господнем».

¹ Цитируется «Горе от ума» А. С. Грибоедова (д. 3, явл. 3). Реплика Молчалина.

² Сюда, по-видимому, должно было быть вписано определение исторического романа, принадлежащего К. и вызвавшее полемические